Лев Толстой

Севастопольские рассказы

Часть сборника
Хаджи-Мурат (сборник)

Лев Николаевич Толстой
Севастопольские рассказы

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172368
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы: Эксмо-Пресс; Москва; 2007
ISBN 5-04-007598-7, 978-5-699-15152-3

Аннотация

Вскоре после начала Крымской войны молодой поручик Лев Толстой по личной просьбе был переведен в Севастополь, где участвовал в защите осажденного города, проявляя редкое бесстрашие. Был награжден орденом св. Анны «За храбрость» и медалями «За защиту Севастополя». Армейский быт и эпизоды Крымской войны дали писателю обширный материал для творчества. Сначала это были художественные очерки, написанные на фронте, после войны они были обработаны и получили название «Севастопольских рассказов». Сборник состоит из трех рассказов, больше тяготеющих к жанру небольших повестей, описывающих разные периоды обороны Севастополя.

Рассказы, повествующие о храбрости и мужестве русских солдат, рисующие беспощадно достоверную картину войны, произвели огромное впечатление на русское общество. В них война впервые предстала безобразной кровавой бойней, противной человеческой природе.

Содержание

Севастопольские рассказы 5
Севастополь в декабре месяце 5
Севастополь в мае 14
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Севастопольские рассказы

Севастополь в декабре месяце

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет – все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи; где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена… Вы подходите к пристани – особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов – дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. – кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом – солдатами, моряками, купцами, женщинами, – причаливают и отчаливают от пристани.

– На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, – предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди – старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…

– Ваше благородие! прямо под Кистентина[1] держите, – скажет вам старик матрос, оборотившись назад, чтобы проверить направление, которое вы даете лодке, – вправо руля.

– А на нем пушки-то еще все, – заметит белоголовый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

[1] Корабль «Константин». (*Прим. Л. Н. Толстого.*)

– А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, – заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

– Вишь ты, где разорвало! – скажет мальчик, после долгого молчания взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко-высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

– Это *он* с новой батареи нынче палит, – прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку. – Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. – И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, – везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, которой ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия, – так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, – это дурное чувство, – идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто

пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посередине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

– Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенес их.

– В ногу, – отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. – Слава богу теперь, – прибавляет он, – на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

– Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, – и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

– Ну, дай бог тебе поскорее поправиться, – говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого

тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

– Что, он без памяти? – спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

– Нет, еще слышит, да уж очень плох, – прибавляет она шепотом. – Я его нынче чаем поила – что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, – так уж не пил почти.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

– У сердца гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

– Эту нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, – скажет вам ваша путеводительница, – она мужу на бастион обедать носила.

– Что ж, отрезали?

– Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти…

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы…

«Что значит смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров; купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры – все говорят вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

– Черт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

– Где у нас? – спрашивает его другой.

– На четвертом бастионе, – отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», – скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», – скажет другой. «Кого это? Митюхина?» – «Нет… Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! – прибавит он к трактирному слуге. – Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой – в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион», – непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» – большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели…

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоня-

ете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин – камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион… Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» – носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, – вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались на гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге.* Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи; везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль – жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, – слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» – думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут – место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею – на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас

нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папироску из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, – но только, ежели вы его расспросите, – про бомбардирование пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро шестого он *палил*[2] из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати-сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель – *он*, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», – и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, – это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *абразуру* попало; кажись, убило двух… вон понесли», – услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», – скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» – и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»[3] – и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову,

[2] Моряки все говорят палить, а не стрелять. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

[3] Мортира. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» – еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», – говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги…

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, – идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, – и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше… они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, – о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, – Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», – и наши русские, не способные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти,

не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь 1885 года, 25 апреля.

Севастополь в мае

1

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же – с невольным трепетом и суеверным страхом – смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на черную изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой – выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата – один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восемьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город – на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, наго-

роженных на левой стороне морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен – длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги, – но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартермистр полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспоминал одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам „Инвалид“, то *Пупка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на *эс в беседку, в гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов, – говорит она, – так это душка человек, я готова расцеловать его, когда увижу, – он сражается на бастионах и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут», и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) – так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уж сообщения* с Балаклавой, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь, и говорит, что ты, наверно, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился…»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на *эсе* (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, – вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг,

в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное – «пускай говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей – водкой, к игре на пятирублевый банк, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи, – думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулку, – когда она вдруг прочтет в „Инвалиде“ описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк… подполковник… Анну на шею… полковник…» – и он был уже генералом, удостаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.

3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в старых шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитана Обжогова и прапорщика Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним – с адъютантом – штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим – штаб-офицером – мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого.

Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *на музыку.*

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитан Обжогов, и прапорщик Сусликов, и поручик Пиштецкий, и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости – порассказали бы… Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, – думает он, – или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами?* «Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в Рос-

сии (где бы, кажется, не должно бы было быть его) с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельства не проникает эта гнусная страстишка?), – между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа и неаристократа*. Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, ленивогрустным голосом? Чтобы доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки *аристократ* и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается, и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде – даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, – в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых ста двадцати двух светских людей, поступивший на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из ста двадцати двух героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него), он счел не унизительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

– Что, капитан, – сказал Калугин, – когда опять на баксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте, – жарко было? а?

– Да, жарко, – сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

– Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен, – продолжал Михайлов, – один офицер, так… – Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

– А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, – сказал он князю Гальцину.

– А что, не будет ли нынче чего-нибудь? – робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

– Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

– Это около моей квартиры дочь одного матроса, – отвечал штабс-капитан.

– Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую руку, не раз коловшую французов, за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситце-

вым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче, – думал штабс-капитан, – я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой *долг* был идти… да, *долг*. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословление покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

– Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! – сердито сказал Михайлов.

– Чего спать? – проворчал Никита. – День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось, – а тут не засни еще.

– Ты опять пьян, я вижу.

– Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

– Молчи, скотина! – крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

– Скотина? скотина? – повторял слуга. – И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

– Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита, – сказал он кротким голосом. – Письмо это к батюшке на столе, оставь так и не трогай, – прибавил он, краснея.

– Слушаю-с, – сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил *«на свои деньги»*, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита!» – то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» – всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать

что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, а что она бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко на слободке весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей), и т. д., и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят, – рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. – Но куда? как? сюда или сюда? – думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. – Вот ежели бы сюда, – он думал о верхней части ноги, – да кругом бы обошла – все-таки должно быть больно. Ну, а как сюда да осколком – кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись богу, хотел заснуть немного.

5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

– Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, – говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, – как же он женился?

– Умора, братец! Je vous dis, il yavait un temps ou on ne parlait que de ca à Pétersbourg,[4] – сказал, смеясь, Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина, – просто умора. Уж я все это знаю подробно. – И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, особенно Калугин и Гальцин, очень милыми, простодушными, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

– Что Маслоцкой?

– Который? лейб-улан или конногвардеец?

– Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший – ротмистр?

– О! уж давно.

– Что, все возится с своей цыганкой?

– Нет, бросил, – и т. д. в этом роде.

Потом Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

---

[4] Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге (*франц.*).

Человек вошел с чаем со сливками и кренделькими на серебряном подносе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 9,99р. (на 01.07.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.